

Мисао

— Андрей Вятч —



Андрей Вятч

Мисао

«Автор»

2026

Вятч А.

Мисао / А. Вятч — «Автор», 2026

Мир полон невидимого. Не духов, не демонов. Это застывшие мысли: обещание, которое не успели сдержать. Обида, которую не сказали вслух. Вина, которую носили так долго, что она стала частью тела. Они не злые и не добрые. Они просто остались — и ждут, чтобы их кто-нибудь услышал. Большинство людей не видит их. Но чувствует — как беспричинную тревогу, как мысль, возвращающуюся годами, как один и тот же сценарий, из которого невозможно выйти. Он видит. Он ходит от деревни к деревне и разговаривает с людьми. У него нет ни имени, ни дома, ни прошлого, которое он помнил бы до конца. Есть только правило: не лечить, не изгонять, не решать за человека. Слушать. Дать заговорить. Помочь произнести то, что держит. Он называет себя просто: тот, кто разговаривает. Это книга о том, как невидимое живёт рядом с нами, и о человеке, который однажды обнаружил, что все его чужие дела — на самом деле одно, его собственное.

© Вятч А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Первое	7
Семь дней резчика	9
Эхо колыбельной	18
Дом с двумя дверями	23
Второе	29
Деревня забытых имён	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Андрей Вятч Мисао

Глава

МИСАО

Андрей Вятч

МИСАО

2026

Аннотация

Мир полон невидимого.

Не духов, не демонов. Это застывшие мысли: обещание, которое не успели сдержать. Обида, которую не сказали вслух. Вина, которую носили так долго, что она стала частью тела. Они не злые и не добрые. Они просто остались — и ждут, чтобы их кто-нибудь услышал.

Большинство людей не видит их. Но чувствует — как беспричинную тревогу, как мысль, возвращающуюся годами, как один и тот же сценарий, из которого невозможно выйти.

Он видит. Он ходит от деревни к деревне и разговаривает с людьми. У него нет ни имени, ни дома, ни прошлого, которое он помнил бы до конца. Есть только правило: не лечить, не изгонять, не решать за человека. Слушать. Дать заговорить. Помочь произнести то, что держит.

Он называет себя просто: тот, кто разговаривает.

Это книга о том, как невидимое живёт рядом с нами, и о человеке, который однажды обнаружил, что все его чужие дела — на самом деле одно, его собственное.

Оглавление

Первое

Семь дней резчика

Эхо колыбельной

Дом с двумя дверями

Второе

Деревня забытых имён

Письма, которые доходят

Гончар, который лепил дождь

Часы, идущие назад

Швея, которая отказалась

Третье

Комната, которой нет

Голос за спиной

Четвёртое

Дерево, которое помнило всё

Перекрёсток и тишина

Пятое

Лекарь, который лечил словами
Старая фабрика снов
Мост над туманом
Шестое
Исток
Возвращение

Первое

Деревня называлась никак.

Я спрашивал, и мне отвечали по-разному: кто говорил «Верхняя», кто «Кривая», а старик с трубкой у перевёрнутой лодки сказал: «Да зачем тебе. Ты и так здесь живёшь». Он сказал это без улыбки, и я не понял, шутит он или нет.

Я проснулся здесь вчера, под утро, на краю колодца. В мешке была тетрадь, в тетради — восемнадцать закрытых чужих дел и ни одного собственного. Закрытых для тетради. Для меня они были закрыты так же, как эта деревня: я читал итог и не помнил ничего, что к нему привело. Я не помнил, как меня зовут. Я помнил, что не помню, и это было похоже на зуб, которого нет: языком находишь дырку, а дырка не болит.

Я лежал на камне и смотрел в небо, пока не сообразил, что не помню и того, откуда пришёл. Я сел. Тело помнило дорогу — ноги были сбиты, спина затвердела от мешка, на плече была мозоль от лямки, — но дороги не было. Меня поставили здесь, как ставят путника в чужой истории, чтобы он шёл и рассказывал.

Со мной были: мешок, тетрадь, нож, огниво, фляга, карманные часы, которые стояли. И ещё что-то на дне мешка, завернутое в тряпицу; я развернул и не понял. Короткая сосновая палочка, колышек, с засохшей грязью в бороздах. Я не знал, откуда он у меня. Я убрал его обратно.

Колодец был старый, с воротом, с ведром на цепи. Вода в нём стояла высоко. Я заглянул в неё и увидел себя и подумал: хорошо, значит, хоть что-то видно.

Воды я напился и умылся, и это было первое, что я сделал в этой деревне как живой человек: не смотреть, не слушать, а просто пить. Я помню это лучше, чем всё остальное утро. Вода была холодная, с железом.

Деревня просыпалась медленно. Открывались ставни — по одной, не разом, как открывают их в местах, где никуда не спешат. Из трубы над третьим домом пошёл дым. Женщина вышла с ведром и поставила его у колодца, и мы постояли рядом, пока она набирала, и она не сказала мне ни слова, и я не сказал ей.

Дым из этой трубы был горький, и я почувствовал его раньше, чем понял. Руки у меня стали холодными — не от утра. Я стоял у колодца и ждал, пока пройдёт, и оно прошло, как проходит всегда: коротко, до тошноты, а потом остаётся только вкус во рту — вкус пепла. Я не знал, откуда это берётся. Я знал только, что дым — это то, чего я не выношу, и что где-то у меня в теле лежит память, которую я не могу прочесть: она не в голове, она в горле и в пальцах.

Я не стал об этом думать. Я сел на камень у колодца, чтобы переждать, и пока переждал — увидел женщину с каштановыми волосами и лентой.

Я не знал, как себя вести. Я знал, что умею разговаривать с людьми, — это было в руках, в дыхании, в том, как я сажусь и как молчу. Но с чего начинают разговор с женщиной, которая набирает воду у колодца в деревне, где ты проснулся вчера и не помнишь своего имени, — этого я не знал.

Женщина с каштановыми волосами и лентой прошла мимо с пустым ведром.

Я поздоровался. Она не ответила и не посмотрела — но не от грубости. Так не отвечают, когда знают человека слишком давно, чтобы на него смотреть.

Я сказал ей вслед: «Доброе утро». Она не обернулась. Я сказал громче, потому что решил, что она не расслышала. Тогда она остановилась — не обернулась, а именно остановилась, как останавливается человек, который решает, отвечать или нет, — и пошла дальше.

Мне стало не по себе. Не от того, что она не ответила. От того, что при этом она шла так, как ходят, получив ответ.

К полудню я обошёл деревню. Двенадцать домов, колодец, дуб со сломанным суком на краю, перевёрнутая лодка у околицы. Церкви не было — была часовня без креста, и в ней хранили сети. За деревней начиналось поле, за полем — перелесок, за перелеском — дорога. Одна. Она шла на восток и на запад, и на запад уходила в дымку.

Я сел у колодца и открыл тетрадь.

Половина её была исписана мелким почерком — моим, я узнал его, — и записи шли подряд, без дат: имя, место, короткое описание дела, короткий итог. «Акари. Приморская деревня. Карты мест, которых нет. Дописано». «Томаш. Оленья Пасть. Семь дней резчика. Сокол передан». «Ингрид. Хольм. Колыбельная без последнего куплета. Допели».

Восемнадцать записей, и ни об одной я не помнил ничего.

Последняя запись кончалась строкой другой рукой — крупной, с наклоном, старческой: «Дальше сам». И ниже, тем же крупным почерком, уже без знаков: «И не спрашивай меня больше ни о чём. Я тебе сказал всё, что мог сказать словами. Остальное придётся узнать самому, и на это уйдёт дорога».

Выше, между записями, на трёх страницах подряд стояли правила. Я не помнил, что учил их, но, прочитав, узнал всё: так узнают во сне дорогу, по которой ходил ребёнком.

Нить — не верёвка. Верёвку можно держать и отпустить. Нить держит сама, и у неё два конца: на одном — тот, кому тяжело, на другом — то, что он не может назвать. Пока названного нет, нить тянется к другому человеку, к месту, к мёртвому, к вещи — безразлично, лишь бы было за что взяться. Оттого один носит три нити, а другой одну: у первого не названо три вещи, у другого одна.

Тонкая — та, что вот-вот лопнет: ей почти нечем держаться, её человек уже почти выговорил, только никак не решится. Натянута — та, что держит крепко: её не рвут, её долго носят на себе, и она въедается.

Сама нить не лопается. Это я знал и без записи, руками знал: невозможно выпустить из руки то, чего рука не держала. Нить отпускает только тот, кто её держал. Поэтому и правило: не тянуть. Тянут нити те, кто не умеет ждать.

Но бывает и так, что нить лопается сама. Это не освобождение. Это когда тот, на другом конце, перестал быть — умер, уехал, забыл настолько, что его уже нет, — и держаться стало не за что. Тогда человек не понимает, отчего ему вдруг легко и отчего ему вдруг нечем жить. Такую нить не рвут и не лечат. Такую — замечают и называют вслух, потому что человек всё равно будет искать, за что держаться, и найдёт первое попавшееся, если не подсказать ему, что прежнее уже отпустило.

И ещё: у того, кто рвёт нити по своему решению, нитей не остаётся вовсе. Не потому, что он их все отпустил, — отпустить можно только своё. Просто у него их нет: он давно перестал быть тем, кому тяжело. Тяжело бывает тому, кто держит. А он не держит — он тянет.

И ещё одно, отдельно, подчёркнутое одним нажимом:

«Запомни: если тянешь долго, берёшь на себя. Не думай, что это ничего не стоит. Долго тянуть нельзя».

Я присидел над этой строкой до вечера.

Я не боялся. Это странно сказать, но я не боялся. Мне было интересно. Я лежал на краю колодца и думал: вот человек, который умел ходить по дорогам и разговаривать с людьми, и он потерял всё, кроме умения. Что он будет делать?

Он пойдёт по дороге — и посмотрит, куда она ведёт.

На этом месте я остановлюсь и расскажу всё по порядку. Даже то, что тогда не заметил. Особенно то, что тогда не заметил.

Семь дней резчика

В Оленью Пасть я вошёл на исходе третьего дня.

Не вошёл — вполз. Последний перевал был такой, что тропа шла по самому краю обрыва, и камни сыпались из-под ног, и ветер на гребне валил с ног, и я шёл, наклонившись вперёд, — кланялся горе. Когда деревня открылась внизу — в котловине, укрытой елями, — я сел на выступ скалы и позволил себе четверть часа просто смотреть. На дымки над крышами. На стадо оленей у водопоя. На серебристую нитку реки.

Ели шумели, воздух пах смолой и морозцем, и на площади стояла маленькая кирха — знак, что в этих краях жили не только одни, а всякие. Дома были рублены из почти чёрного дерева, с высокими коньками крыш, под окнами висели связки сушёных грибов. Обычная жизнь, думал я, поднимаясь. Обычные люди, обычные заботы.

Я ошибался.

Томаш встретил меня на пороге мастерской. Ему было лет сорок пять, у него были большие руки и маленькие, очень светлые глаза — прозрачные, как горный кварц. Он смотрел на меня и молчал, прежде чем посторониться. Не из враждебности. Из отвычки.

— Вы ко мне? — спросил он. — Я больше не принимаю заказов.

— Я не заказчик. Я разговариваю с людьми. Иногда от этого дерево в руках перестаёт оживать.

Он вздрогнул — так вздрагивают, услышав свой диагноз вслух, — и отступил в дом. Я пошёл следом.

Внутри было пусто, как бывает у людей, которые перестали обставлять жильё. Верстак у окна. Полка. Инструменты, развешанные по размеру — от самых больших стамесок до крошечных, тоньше иглы. Низкая печь, в которой тлели угли. Пахло смолой, льняным маслом и стружкой, которая лежала горкой у ножки верстака и ещё не была выметена.

И на верстаке, у дальней стены, стояли фигурки.

Я подошёл и посмотрел.

Обычный глаз увидел бы только работу — тонкую, долгую, сделанную с той любовью, которая бывает у людей, когда им больше нечего любить. Человечки ростом с ладонь, из светло-серого ореха. Мужчина с одышкой. Женщина в платке. Мальчишка. Каждый со своим лицом.

А я увидел нити.

Они тянулись от каждой фигурки — вверх, наружу, сквозь стены, в деревню, к живым людям. Тонкие, как паутина. Слабые, как пульс спящего. От одной фигурки нить была перерезана. Она лежала на боку, и её человек уже умер.

— Вы это видите? — спросил Томаш.

Голос у него был хриплый. Он смотрел на меня с надеждой и с тем ужасом, с каким смотрят на того, кто подтвердит самое страшное.

— Вижу, — сказал я. — Не знаю, откуда они. Расскажите вы.

Он опустил на табурет и сжал виски ладонями. Я сел напротив и наклонил голову — так, чтобы он видел: у меня есть время.

— Это началось полгода назад, — сказал он. — У меня была дочь. Эльжбета. Девять лет. Лихорадка. Три дня — и нет её. — Он говорил ровно, как человек, который рассказывал это уже много раз, но только самому себе. — Я не спал. Не мог есть. Взял дерево, чтобы чем-то занять руки. Я никогда не резал лиц — только орнамент, кружево по краю. А тут вырезал дочку. Сам не заметил, как. Потом ещё одну. Потом соседа. Через неделю у меня была вся деревня.

Он помолчал.

— А потом я заметил: если фигурка падает сама — человек умирает в три дня.

— Сколько раз?

— Пять. — Он смотрел в пол. — Старая Аника. Ян, сын мельника. Потом ещё трое. Все пять фигурок упали до того, как человек умер. Я поднимал их. Ставил обратно. Бесполезно. Они падают снова. Будто дерево знает.

Я встал и подошёл к верстаку. Отдельно от всех, ещё не покрытая лаком, стояла новая фигурка: мужчина с тонким носом и залысинами. Я узнал его — он прошёл мимо меня на площади и кашлял в платок.

— Ковач, — сказал Томаш. — Вырезал ночью. А вчера вечером он был здоров.

Я посмотрел на нить, которая шла от деревянного Ковача к живому. Нить была цела. Но в одном месте она была истончена — так истончается верёвка перед тем, как лопнуть.

Я не мог поставить диагноз. Но я видел: внутри Ковача что-то двигалось к концу.

Я обернулся к Томашу. Он сидел, сгорбившись, и его руки, большие, сильные руки резчика, дрожали.

— Дайте мне неделю, — сказал я. — Я не обещаю чуда. Обещаю, что буду говорить с вами каждый день. Иногда, чтобы распутать невидимое, надо сначала распутать то, что видно.

Он покачал головой.

— Нет. Я один. И то, что здесь, — вам оно не понравится. И мне не нужно, чтобы меня таким видели.

— Я буду спать в мастерской, — сказал я. — Есть буду что дадите. Спрашивать буду только то, на что вы захотите отвечать. Но если я уйду — вы останетесь с этим один. А я знаю, каково это.

Он долго смотрел на меня. Потом на фигурку Ковача. Потом опять на меня.

— Хорошо, — сказал он. — Оставайтесь. Но если я скажу «уходите» — уйдёте без споров.

— Договорились.

Первый день.

Я попросил его рассказывать. Не про фигурки. Про дочь.

— Она собирала шишки, — сказал он, и голос его сразу потеплел. — За домом старая сосна. Она бегала туда каждое утро, приносила полный подол. Говорила — это домики для духов, которые живут в лесу. Я этих духов не видел. А она видела. Или притворялась так хорошо, что я почти верил. Она с камнями разговаривала, и камни ей отвечали.

— Что они говорили?

— Разное. Что будет дождь. Что пора сажать репу. Что дед придёт в гости. И ведь сбывалось. — Он улыбнулся, и улыбка сразу погасла. — А потом заболела. Утром бегала, к вечеру слегла. Жар, кашель, бред. Лекарь сказал: простуда, пройдёт.

Он замолчал. Я не торопил.

— Я хотел везти её в город, — сказал он наконец. — На второй день думал. Дорога — два дня по замёрзшей колее, через лес. Ни повозки, ни одеял тёплых, ни денег на городского доктора. Я смотрел на неё, маленькую, горячую, — и думал: как я её повезу по такому холоду? Если и поправится, то в дороге простудится насмерть. И оставался.

— А потом?

— На третий день ей стало легче. Она улыбнулась, попросила есть. Я подумал: обошлось. Отменил город. — Он поднял на меня глаза. — А на четвёртый жар вернулся сильнее. Я хотел запрягать. А лекарь сказал: поздно, не довезём, пусть отлежится. Я послушал. И это было моё решение. Не его.

Он снова замолчал. Потом сказал тихо:

— Она попросила воды. Я поднёс кружку. Она отпила и говорит: «Папа, я больше не увижу шишек». А я ей — глупости, поправишься. Она посмотрела на меня. Серьёзно так, как взрослая. И повторила: «Не увижу». В ту ночь её не стало.

— Вы верите, что она где-то есть? — спросил я.

— Не знаю. — Он запнулся. — Но иногда, когда я режу, я чувствую, точно она стоит рядом и смотрит.

Я запомнил это. Не он хочет резать. Хочет она. Или то, что в его сознании приняло её образ.

— А шишки? — спросил я. — Куда вы их?

— Положил три в гроб. Самые красивые, из её коллекции. Соседи сказали — язычество. А мне было всё равно. Я думал: вдруг там, куда она ушла, тоже сосны, и ей будет приятно.

К вечеру он затопил печь, и мы просидели ещё час, глядя в огонь. Треск поленьев, запах смолистого дыма, редкие искры. Я не мешал ему молчать. Иногда молчание после исповеди важнее слов: человеку нужно время убедиться, что его выслушали и не осудили.

Второй день.

Утром деревню разбудил колокол кирхи — не воскресный, размеренный, а частый, тревожный.

Я вышел на крыльцо и увидел, как люди бегут к дому Ковача. Томаш стоял у калитки, бледный.

— Я знал, — прошептал он, когда я подошёл. — Ещё вчера знал.

Мы пошли вместе. В доме уже толпились соседи, пахло воском и травами. Ковач лежал на кровати, лицо осунулось, дыхание было хриплым. Жена держала его за руку и плакала беззвучно. Тот самый лекарь, что не спас Эльжбету, разводил руками: острая пневмония, поздно.

Томаш стоял в дверях. Я видел, как в нём борются ужас и странное, горькое удовлетворение: он снова оказался прав. Я смотрел на нить между деревянным Ковачем и живым. Она истончалась на глазах, истончалась — и лопнула беззвучно, как струна.

Ковач выдохнул и затих.

Томаш вышел на улицу. Я подождал и вышел следом.

Он стоял у калитки, сжимая пальцами щеколду, и смотрел на дорогу. Лицо у него было серым.

— Не надо было мне входить, — сказал он. — Знал ведь. Знал ещё вчера. А пошёл. Будто хотелось убедиться.

Мы дошли до мастерской молча. Томаш сел на табурет и повернулся лицом к стене. Я снял плащ, развёл огонь, поставил чайник. Всё молча, без суеты. Он не притронулся к чаю.

— Вы были у него вчера? — спросил я, чтобы вытащить его из тишины.

— Нет. Я не ходил. Я знал, что он умрёт, а что сказать — не знал. «Прощай»? «Скоро увидишься с моей дочерью»? — Он усмехнулся. — Я сидел здесь и ждал. Как тогда.

Он замолчал. Я чувствовал, как в комнате сгущается то, что я умею видеть: тень его вины становилась плотнее. Но она не душила. Она была похожа на тяжёлое одеяло, под которым трудно дышать, но которое не сбросишь.

Только один раз, уже к вечеру, он поднялся, подошёл к верстаку и убрал фигурку Ковача с глаз — поставил в дальний угол, за банки с олифой.

— Я не хочу больше видеть лица, — сказал он. — Но они приходят.

Я не ответил.

Ночью я вышел на крыльцо и сел, кутаясь в плащ. Небо здесь было другим, чем у моря: резкое, колющее, усыпанное звёздами так густо, что на него словно насыпали соли. Я смотрел, как одна звезда скатывается за гребень, и думал о том, что вина — это тоже мысль. Мысль, которая не хочет умирать, потому что человек не разрешил себе её отпустить.

Третий день.

Томаш вышел во двор, когда солнце ещё не поднялось, и сел на чурбак у поленницы. Я вышел позже, когда рассвело, с двумя кружками отвара.

— Я сегодня не хочу ничего делать, — сказал он, не поворачиваясь.

— И не надо.

Мы сидели долго. Дым из трубы соседнего дома поднимался ровно. Где-то стучал топор — размеренно, с паузами: человек рубил не торопясь, для себя.

— Я вчера вам соврал, — сказал вдруг Томаш. — Когда вы спросили, хочу ли я, чтобы вы ушли, я не ответил. Не потому, что не знал. Потому что боялся: уйдёте — останусь с этим один. Останетесь — придётся говорить.

— Говорить не обязательно.

— Нет. — Он покачал головой. — Я понял: если не говорить, оно копится. И потом вылезает через руки.

Он встал и пошёл в мастерскую. Я за ним.

Внутри всё ещё пахло олифой, но теперь к этому запаху примешивался другой — холодный, как от сырой земли. Томаш сел за верстак, не глядя на фигурки, и взял резец.

— Вы хотели посмотреть, как я работаю. Смотрите.

Я сел у стены, сбоку, чтобы не давить. Он положил перед собой светлый, ещё не тронутый кусок дерева и замер. Я видел, как его плечи опускаются, дыхание становится ровнее, пальцы перестают дрожать. Через минуту он закрыл глаза и начал резать.

Это было похоже на сон. Руки двигались точно, без суеты, и в каждом движении была не сила, а что-то другое: он не вырезал фигуру, а освобождал её из дерева. Стружка ложилась на пол тонкими завитками, и в комнате, кроме её шороха, не было слышно ничего.

Я смотрел и видел: серебристое свечение стучалось вокруг его пальцев, обволакивало резец, стекало на дерево. Оно не было злым. Но в нём была тяжесть.

— С кем вы сейчас? — спросил я тихо.

— С ней. С Эльжбетой. — Он не открыл глаз. — Она здесь. Стоит рядом и показывает мне лицо.

— Какое?

— Сегодня — женщина. Немолодая. Я её не знаю. Но она уже близко. — Он снова начал резать, и голос стал ровным, как у человека, который говорит сквозь сон. — Она мне не нравится. Глаза строгие, на шее платок. Но Эльжбета хочет, чтобы я её вырезал.

— А вы чего хотите?

Рука дрогнула. Он открыл глаза, посмотрел на дерево, на свои пальцы, на меня. Впервые за всё время я увидел в его взгляде не отчаяние, а вызов.

— Я не знаю. В том-то и дело. Я перестал понимать, чего я хочу. Раньше знал: чтобы семья была сыта. Чтобы Эльжбета выросла. Чтобы в доме пахло хлебом. А теперь? — Он отложил резец. — Теперь я просто инструмент. Она показывает — я делаю. Но зачем? Для чего?

— И что вы при этом думаете, когда режете?

Он снова взял резец, но не стал резать. Повертел в пальцах, как поворачивают вещь, увиденную впервые.

— Долг. Огромный, тяжёлый долг. Будто я должен что-то сделать с этим знанием. А что — не знаю.

— Долг перед кем?

Томаш замер. В комнате стало совсем тихо. Потом он медленно поднял голову.

— Перед ней. Перед Эльжбетой. За то, что не спас. За то, что сидел и ждал, пока она умирала. За то, что она не увидела больше шишек.

Он отвернулся, и его плечи вздрогнули — один раз, сдержанно, точно он не позволил себе больше.

— Вы это сказали, — проговорил я. — Не я. Вы.

Он кивнул, не оборачиваясь. И в этом кивке было что-то очень усталое, но живое.

Четвёртый день.

Ковача хоронили на третий день, как положено. Утро выдалось серым, безветренным, небо висело низко, и птицы не кричали. Гроб сколотили из сосновых досок — простой, но добротный. Ковач лежал тихо, сложив на груди большие негнувшиеся руки.

Деревня вышла вся. Смерть здесь была редкой гостьей, и каждая потеря отзывалась во всех дворах, как трещина в общем льду. Священник читал молитвы негромко, и слова его смешивались с шорохом елей.

Томаш стоял в стороне, за спинами, как человек, которому не место в первом ряду. Он не смотрел на гроб — смотрел на свои пальцы, которые сами собой тёрли большой палец об указательный, словно стирали невидимый след. Рядом с ним никто не встал. Между ним и остальными лежала полоса вытоптанной травы, словно сама земля держала расстояние.

Когда гроб опускали, вдова Ковача закричала — не словами, а протяжным, низким звуком. Её подхватили под руки. Томаш вздрогнул, как от удара в грудь. И в его взгляде мелькнуло то же, что он носил с ночи смерти дочери: не страх, не сочувствие, а горькое подтверждение. Он снова знал заранее. И от этого знания ему не было ни легче, ни чище.

Дети Ковача, двое белёсых, не по годам серьёзных мальчиков, первыми бросили по горсти земли. Томаш подошёл последним, когда все начали расходиться. Постоял, снял шапку. Губы его шевелились, но я не слышал слов. Потом он наклонился, поднял с земли камешек и положил его на холмик — так кладут не по обычаю, а на память.

Вечером я попросил его описать, какая она, та Эльжбета, что приходит во время резьбы.

— Она старше, чем была. Лет двенадцать-тринадцать. — Он подбирал слова медленно. — Волосы заплетены в косу, как она всегда просила, а я не умел. Она улыбается. Молчит. Стоит и показывает. Иногда протягивает руку, почти касается плеча. Но не дотрагивается.

— Она просит вас о чём-нибудь?

— Нет. Она просто присутствует.

— А настоящая Эльжбета — она просила о чём-нибудь перед смертью?

Он задумался, потом покачал головой.

— Нет. Сказала про шишки. Попросила воды. Никаких обещаний. Никаких наказов. Просто ушла.

— Тогда откуда взялся долг?

Томаш посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло смятение.

— Не знаю, — сказал он. — Я об этом не думал.

Отвечать я не спешил. Вместо этого предложил пойти к той самой сосне — за домом, на пригорке, под которой Эльжбета собирала шишки.

Мы сели под сосной, на подушку из опавшей хвои, и смотрели, как солнце красит вершины гор в цвет спелого персика. Томаш молчал, катая в пальцах шишку. Я молчал тоже.

— Она правда любила это место, — сказал он наконец.

— Тогда приходите сюда иногда, — сказал я. — Не с резцом. Не с вопросом. Просто посидеть.

Он кивнул. Мы вернулись в мастерскую в темноте, и эта прогулка не дала ответов, но сделала другое: напомнила нам обоим, что горе можно не только распутывать разговором, но и разделять молчанием.

Пятый день.

Я попросил разрешения осмотреть мастерскую внимательнее.

Среди старых инструментов, заготовок, покрытых пылью, я заметил на высокой полке деревянную куклу. Грубая резьба, трещины, но пропорции сохранились: женщина в длинном платье, руки сложены на груди. От неё исходило то же свечение, что и от рук Томаша во время работы, — только более плотное, старое, накопившее силу за десятилетия.

— Кто это?

Томаш подошёл и прищурился.

— А, это. Дед вырезал. Он тоже был резчиком. Я её почти не помню — она всегда здесь стояла, сколько себя знаю.

— Расскажите о нём.

— Он умер, когда мне было пять. Упал в горах — искал какое-то редкое дерево. Мать говорила, он был странный. Всегда знал, когда кто-то заболит. Соседи его побаивались, но уважали: он резал обереги, и люди верили, что они защищают. — Томаш помолчал. — Я никогда не связывал это с собой.

— А бабушка? Как она умерла?

— Внезапно. Он был в отъезде. В горах, за деревом для заказа. Она простудилась вечером, а через три дня её не стало. Сгорела от жара, как свечка. Мать рассказывала, когда он вернулся, в доме уже пахло хвоей и воском.

— Он не успел проститься.

— Никто не успел. — Томаш вздохнул. — Она умирала и звала его. А он в это время резал дерево под перевалом. Мать говорила, он потом неделю не разговаривал. Сидел в мастерской и смотрел на кусок дерева, который принёс для того заказа. А потом начал вырезать её лицо. Говорил — она пришла к нему во сне и попросила.

Он замолчал, потом добавил:

— Говорят, после этого он стал ещё страннее. Начал вырезать лица людей, которых никогда не видел. А потом находил их в соседних деревнях.

Я посмотрел на куклу. Мысль о том, что ремесло должно предупреждать о смерти — что быть нужным любой ценой, — всё ещё жила в этой деревянной фигурке. Она искала носителя. И нашла его во внуке, когда тот оказался уязвим.

— Ваш дед тоже боялся не успеть, — сказал я. — Как и вы.

Томаш медленно кивнул.

— Значит, это от него. Это наследство.

Шестой день.

— Идёмте на погост, — сказал я утром, когда он сел за верстак.

Он поднял голову, удивлённый.

— Зачем?

— Там лежит ваш дед. Не всё надо решать в четырёх стенах. Иногда легче говорить, когда рядом тот, кто должен был это услышать.

Он долго смотрел на меня, потом на свои руки, потом на дверь — прикидывал, сможет ли. Наконец встал, накинул куртку и первым вышел на улицу.

Могила была в дальнем углу, у ограды. Невысокий камень, позеленевший от времени, с именем, которое я не смог разобрать, и двумя засохшими цветками в трещине. Земля вокруг была утоптана — видно, Томаш ходил сюда, хоть и нечасто.

Он остановился перед камнем, снял шапку, сжал её в руке. Я встал чуть позади.

— Ну, — сказал он наконец, глядя не на меня, а на могилу. — И что теперь?

— Скажите ему то, что не успели. Он здесь. Он слушает.

Томаш горько усмехнулся.

— Он мёртв. Он никого не слушает.

— Может быть. Но вы живы. И вам нужно, чтобы эти слова прозвучали. Где, как не здесь?

Он долго молчал. Ветер шевелил его волосы. Потом он повернулся ко мне, и в его глазах вспыхнуло раздражение — не на меня, а на саму мысль.

— Это бред, — сказал он громче, чем раньше. — Стоять у камня и разговаривать с покойником? Я не сумасшедший.

— Я не прошу вас верить, что он слышит, — сказал я спокойно. — Я прошу сказать то, что вы носите. Могила — просто место. Но иногда, когда говоришь в такое место, слова идут легче. Не для него — для вас.

— Для меня было бы лучше, если бы вы не выдумывали этих представлений. Я пришёл говорить с вами, а не с землёй.

— И вы уже говорите. — Я не отвёл взгляда. — Но то, что вы хотите сказать, адресовано не мне. Я могу выслушать. Но не могу ответить за него. А вам нужен ответ. Хотя бы тот, который вы сами сможете произнести.

Он отвернулся, сжал челюсти. Я видел, как напряглась шея, как пальцы вцепились в шапку. Он стоял так несколько секунд, потом выдохнул шумно, как человек, который устал сопротивляться.

— Всё равно звучит как бред, — сказал он тише. — Но я попробую. Только не стойте над душой.

Я отступил к сосне и опёрся плечом о кору. Томаш остался один перед могилой. Он долго смотрел на камень, и его спина то напрягалась, то опускалась, точно он вёл беззвучный спор с собой. Потом он поднял голову, и я услышал, как он заговорил — сначала еле слышно, потом всё отчётливее:

— Ты оставил её, — сказал он, и голос дрогнул. — Знал, что она боится. Знал, что ей страшно одной. И всё равно ушёл. Она сгорела за три дня, а ты в это время резал своё дерево. Ты не успел даже проститься. И я... — он запнулся, сглотнул, — я так же. Я смотрел, как умирает моя дочь, и ждал. Ты хотя бы не знал. А я знал. И всё равно ждал.

Он замолчал. Я не шевелился. Где-то в деревне крикнул петух, но здесь, на погосте, тишина была плотной, как воздух перед грозой.

— Хорошо, — сказал я тихо. — Теперь послушайте, что он мог бы ответить. Не словами — просто, если бы он стоял здесь. Что бы вы хотели от него услышать?

Томаш вздёрнул подбородок и посмотрел на меня с вызовом, смешанным с усталостью.

— Откуда я знаю, что он скажет? Я его почти не помню. Несколько картинок из детства. Я не могу придумать за него слова. Это будет враньё.

— Пусть будет враньё, — сказал я. — Сейчас важно не то, что он сказал бы на самом деле. Важно то, что вы хотите услышать. Попробуйте. Просто предположите.

Он помолчал.

— Не знаю, что хочу услышать, — сказал он тише. — Может, что он не винил бы меня. Может, что он тоже боялся не успеть. Что у нас это общее — опоздать. — Он усмехнулся через силу. — Звучит жалко.

— Звучит по-человечески.

Томаш закрыл глаза. Лицо его исказилось, как от внутренней борьбы.

— Он бы сказал: «Я не знал». — Голос стал глуше, почти шёпотом. — Сказал бы, что не хотел. Что думал о нас всё время, пока шёл через перевал. Что дерево так и не продал — оставил у порога, потому что не смог резать его, когда узнал. Что каждый день ходил сюда и клал камни, чтобы не забывать.

Он открыл глаза и посмотрел на могилу.

— Не знаю, правда ли это. Но так было бы справедливо.

— Справедливо — не всегда значит правда, — сказал я. — Но иногда нам нужно не точное знание, а возможность простить. Вы сейчас говорили не с ним. Вы говорили с той частью себя, которая считает, что вас нельзя простить. И она, кажется, дрогнула.

Томаш долго смотрел на камень. Потом наклонился, поднял с земли маленький серый камешек и положил на могилу — в знак того, что был здесь и не забыл.

— Я приду ещё, — сказал он, обращаясь не ко мне. — Завтра. Или послезавтра. Когда будет что сказать.

Мы вернулись в мастерскую в сумерках. Томаш шёл медленнее, чем на погост, и в его походке больше не было зажатости. Он сел на табурет — не за верстак, а лицом к двери, как человек, который после долгого дня наконец может выдохнуть.

— Вы были правы, — сказал он. — Там легче. Будто он правда рядом.

Отвечать было нечего. Я кивнул и пошёл к печи вскипятить воду. За спиной, в тёмном углу, старая кукла на полке стояла, и я увидел, как свечение вокруг неё впервые за всё время дрогнуло и стало чуть теплее. Тень деда больше не была замком. Она становилась дверью.

Седьмой день.

Томаш проснулся и не нашёл на верстаке новой фигурки.

Впервые за полгода его руки не помнили ничьего лица. Он испугался, что потерял мастерство, но я попросил его взять резец осознанно, днём, при свете, и вырезать то, что хочется ему.

Он подумал и начал вырезать оленя. Маленького, с ветвистыми рогами. Никакой нити от этого оленя не тянулось ни к кому живому. Это была просто фигурка.

— Я больше не хочу знать, — сказал он, не отрываясь от работы. — Но хочу помнить. Эльжбету. Деда. Хочу помнить, что жизнь хрупка. И резать. Только не лица живых. А то, что они любят. Цветы. Зверей. Дома.

Он поднял оленя к свету и повертел. Я промолчал. Два года назад на этом же месте он вырезал бы лицо, и оно шло бы за человеком по дороге. Теперь он вырезал оленя, и олень никуда не шёл.

Томаш поставил фигурку на полку, к другим. Их было семь. Он вырезал их за эти дни, по одному, и каждая была кому-то: жене — птицу, деду — лодку, соседке — дом с трубой. Он не говорил, кому что. Он просто ставил их на полку, и они стояли, и вокруг них не было нитей.

— Видите? — сказал он и провёл пальцем по краю полки. — Ничего не тянется.

Он не ждал, что я подтверждаю. Он просто сказал это вслух, чтобы услышать самому. Так говорят люди, которые впервые за много лет трогают вещь и не боятся, что она потянет их за собой.

В последний вечер мы снова сидели у печи, и тишина между нами была другой — не тяжёлой, а спокойной, какая бывает между людьми, прошедшими вместе через что-то трудное. Томаш заварил чай, крепкий, пахнувший чабрецом и дымом.

— Скажите, — проговорил он, глядя на огонь, — а то, что я видел. Все эти лица. Оно ушло?

— Оно ждёт, — сказал я. — Год, два. Мысль, которую держали полвека, не уходит за неделю. Но теперь оно знает: ты знаешь. И ты выбрал не его.

Он кивнул и больше об этом не спрашивал.

Я уходил из Оленьей Пасти утром восьмого дня. Томаш вышел меня проводить и протянул маленькую фигурку: сокол. Птица, которая смотрит с высоты и видит всё целиком.

— Держите, — сказал он. — Не знаю зачем. Просто пусть будет при вас.

Я принял подарок и повертел в руках. Лёгкое, гладко отшлифованное дерево, тёплое — ещё хранило тепло его пальцев.

— Спасибо.

Я выходил уже за калитку, когда он сказал — не мне, а как бы в сторону:

— Если найдёте такого, как я, — он сказал «как я», не «как вы», — научите его держать резец, пока он ещё мальчик. Пока лиц не начал. Я бы своего сына научил. Если бы был сын.

Я обернулся. Он стоял и смотрел на свои руки.

— А вы можете научить? — спросил я.

— Уже нет, — сказал он. — Я своё научился держать. А передать — это другое. Это надо, чтобы кто-то захотел взять.

Я запомнил это и пошёл. Зачем запоминаю — не понял. Я тогда многое запоминал, не понимая зачем: ремесло приучает — если не запишешь, забудешь; если забудешь, потеряешь. Я ещё не знал, что у этого есть второе дно.

Я спускался с перевала и раз останавливался перевести дыхание. За спиной оставались дымки над крышами Оленьей Пасти, а в мешке лежал сокол, и я думал о том, что горе, прожитое до конца, оставляет после себя не пустоту, а место — в котором можно снова начать резать что-то живое.

На повороте тропы я обернулся в последний раз. Деревня уже почти скрылась за елями. И тут я увидел, что от одного из домов к дороге тянется тонкая серебристая нить — длинная, спокойная, ни к кому не привязанная, а просто уходящая в лес, куда глядела сосна.

Я пошёл дальше. До моря, где стоял маяк, было, по словам Томаша, четыре дня пути. Там, говорили, молодая мать не может успокоить ребёнка, и никто не понимает почему.

Я прибавил шаг.

Эхо колыбельной

Маяк погас в ту ночь, когда родился ребёнок, и с тех пор горел снова — но криво.

Так мне рассказали в порту, куда я спустился на четвёртый день. Портовый городок звался Холм, и в нём было всё, что положено портовому городку: чайки, канаты и смола.

Я слушал порт два дня. Порт умеет говорить, если не мешать ему. Но порт, как всякое место, где много людей, говорил больше о себе, чем о деле. Мне рассказали про маяк, который зажигают, но он не светит туда, куда надо. Про женщину, которая приехала сюда год назад из деревни на том берегу, вышла замуж за смотрителя маяка и родила ребёнка. И про ребёнка, который не плачет по ночам, как все дети, — а кричит так, что чайки срываются с крыш.

Никто не сказал мне главного, потому что этого не знал никто: что маяк погас в ту ночь не сам.

Я узнал это позже, от старой женщины, которая ходила на маяк прибираться, когда там ещё жили. Она рассказала так, между делом, и не поняла, что сказала:

— Смотритель-то, Хальвар, он в ту ночь был на башне. Он всегда на башне, когда ветер. И мать его — старая, из деревни на том берегу — при ней роды начались. Она и послала за сыном. А он не пошёл. Ветер, говорит, отойдёт — приду. Огонь важнее, сказал. Там, внизу, корабли. — Старуха поджала губы. — Огонь-то он зажгёт. А дитя родилось в ту ночь, пока батяка светил чужим.

Вот откуда всё пошло. Не от колыбельной. Колыбельная — только то, за что зацепилось.

В ту ночь, пока отец держал огонь для чужих, мать рожала одна, в темноте, без него. И запомнила это не голова — тело. Тело, которое рожало, знало: того, кто должен быть рядом, нет, и он сам решил не быть. Вот эти нити и держались за мать.

Я нашёл дом под маяком к вечеру. Он стоял на скале, ветер свистел в ставнях, и в окне горел один огонь — не маячный, а обычный, живой. Я постучал.

Открыла женщина. Молодая, худая до прозрачности, с тёмными кругами под глазами. Она посмотрела на меня без любопытства — так смотрят люди, у которых давно не осталось сил ни на что, кроме самого необходимого.

— Вы лекарь?

— Нет. Я разговариваю с людьми.

Она хотела уже закрыть дверь, но из глубины дома раздался тонкий, требовательный, отчаянный крик. Женщина вздрогнула. Я увидел, как её плечи подались вперёд, точно её толкнули в спину. Она обернулась на крик. И в этой секунде была вся её жизнь: она не могла не обернуться.

— Заходите, — сказала она.

Её звали Ингрид. Муж, Хальвар, сидел у окна с ребёнком на руках. Мальчику было месяцев пять. Он кричал так, как кричат не от голода и не от боли, а от чего-то другого, огромного, что не помещается в его маленьком теле. Хальвар качал его, и его лицо было лицом человека, который давно перестал ожидать, что поможет.

— Дайте мне посидеть с вами, — сказал я. — И расскажите, как это началось.

Они рассказывали по очереди. И я слушал, как слушаю всегда: не слова, а то, что за ними.

Началось не с крика. Началось с колыбельной.

Ингрид пела сыну песню своей бабушки — ту самую, которую пели ей, и её матери, и матери её матери. Песня была длинная, и в ней было много куплетов, и бабушка всегда говорила, что песню нельзя петь до конца: последний куплет нужно оставить на другой раз, потому что конец песни — это конец.

— Она умерла, когда я была маленькая, — говорила Ингрид. — Я не помню её лицо. Помню руки. Помню, как она гладила меня по голове, когда пела. И я помню песню. Всю.

Кроме последнего куплета. Последний куплет я слышала один раз и не запомнила. Она говорила: пой на другой раз. А другого раза не было.

Она пела сыну своё, обрывая там, где всегда обрывала бабушка. И ребёнок слушал. А потом начинал кричать.

— Это не на песню, — сказал я, догадавшись раньше, чем сказал. — Это на тишину после неё.

Ингрид посмотрела на меня и вдруг заплакала.

— Я так и думала, — проговорила она сквозь слёзы. — Я знала. Просто мне никто не верил.

Я почти ничего не делал в тот первый вечер. Я сидел на скамье у печи, пил чай и слушал. Хальвар покачивал сына, и его руки были уверенными, но я видел, как напряжения становятся шире и уходят в плечи, в шею, в эту затвердевшую линию между лопатками, которая держится, когда человек держится из последних сил.

Перед сном я вышел на скалу и посмотрел на маяк.

Он был теперь совсем близко, и я видел: свет в нём горит неровно — рванётся, замрёт, снова рванётся. Тонкая серая нить тянулась от маяка к дому, где спал ребёнок. Она не была похожа на те нити, что связывают людей с их мёртвыми. Она была другой — как след, оставленный в воздухе, как замирающий звук. Тонкая, одинокая, дрожащая.

Я вернулся в дом, сел на полу у колыбели и стал смотреть.

Я смотрел всю ночь. Я не притворяюсь. Я смотрел, как мальчик спит — короткими, рваными кусками, — и как от его маленькой груди, к которой, как нитка к пуговице, крепилось что-то тёмное, шли нити. Не к матери. Не к отцу. Куда-то выше.

Я понял: это пришло к нему не от живых. Оно пришло оттуда, где голос оборвался.

Второй день.

Утром я попросил Ингрид петь.

Она побледнела.

— Я не могу. Как запою, он так закричит, что я боюсь.

— Я буду рядом, — сказал я. — Я хочу, чтобы ты спела. Только не сыну.

— А кому?

— Себе.

Она не поняла. Я и не объяснял. Объяснять — не моя работа.

Днём я остался с Хальваром. Ингрид ушла за молоком к соседке, и мы вдвоём сидели у колыбели, и он молчал так, как молчат люди, которым есть что сказать и которые знают, что их не спросят.

Я спросил.

— Вы тоже не спите? — сказал я.

— Я сплю, — ответил он. — Как убитый. — Он помолчал. — Это хуже всего.

Он объяснил не сразу; я не торопил. Мальчик кричал каждую ночь, и жена не спала каждую ночь, и он, Хальвар, спал. Крепко, без снов, до утра. Он просыпался от того, что она трясла его за плечо, и она смотрела на него так, как смотрят на человека, который бросил их вдвоём и ушёл, хотя он никуда не уходил. Он не мог объяснить ей, что это не выбор. Что тело само. Что он пытался не спать, стоял, ходил, пил холодную воду — и всё равно к трём часам отключался, и утром просыпался с этим стыдом, который никуда не денешь.

— Она думает, я не слышу, — сказал он тихо. — А я слышу. Я всё слышу. Просто как будто через стену.

Я посмотрел на него своим зрением. От него к колыбели шла нить — тонкая, серая, и она была натянута так, что звенела. Не вина. Вина у людей другого цвета. Это было бессилие: то место, где человек стоит рядом и не может ничего сделать. Самое тяжёлое из всех, потому что его не выплачешь.

— Вы не виноваты, — сказал я.

— Знаю, — ответил он. — Это и не помогает.

Он был прав. От этих слов не помогало ничего. Я это знал лучше многих: за двадцать лет я произносил их сотни раз и ни разу не видел, чтобы они кого-то вылечили. Люди хотят не прощения. Они хотят, чтобы у них отняли то, что они не могут отложить сами. А этого сделать нельзя, не забрав у них что-нибудь другое.

На маяк он не поднимался. Он вообще туда не ходил — уже год. Не мог. Я спросил почему, и он ответил не сразу.

— Там огонь, — сказал он. — Всё время огонь. Я его зажигаю каждый вечер, и он горит всю ночь, чтобы кто-то там, в море, не разбился. И каждый раз, когда я его зажигаю, я думаю: а мой сын сейчас кричит, и я ничего не могу. Я зажигаю свет для чужих и не могу зажечь его для своих. Понимаете?

Я понимал. Я слишком хорошо понимал.

Мы сидели за столом, ребёнок спал в колыбели, убаюканный отцом, и Ингрид начала петь — тихо, на выдохе, будто пела не для того, чтобы звучало, а для того, чтобы выпустить. Песня была длинная. Может быть, та самая, может быть, я про это ничего не знаю. Но мелодия шла ровно, и в комнате пахло молоком и дымом, и за ставнем свистел ветер.

И я почувствовал: там, где голос ушёл, в самой тишине от него осталось что-то.

К концу дня я понял, что мне нужно от неё.

— Твоя бабушка не допела, — сказал я. — Не потому, что не хотела. Потому что не смогла. Она оборвала песню на самом конце — и осталось незакрытое. Незаконченная забота. Она держит эту песню и ищет, кому её отдать. И нашла ребёнка. Твоя песня — её песня, и он ждёт в тишине — что будет дальше?

— Что дальше? — переспросила Ингрид. — Тишина.

— Да. Тишина. Ему нужно, чтобы песня дошла до конца. Иначе она держит его, потому что незакрытая песня — как незапертая дверь. Он слышит не тебя. Он слышит то, что не спето.

— Значит, вы хотите, чтобы я допела?

— А ты знаешь, чем она кончается?

Она задумалась. Я видел, как она роется в памяти — и не находит.

— Нет, — сказала она. — Я помню мелодию. Но слова — нет. Я никогда не слышала конца.

— Тогда тебе придётся придумать конец.

Ингрид покачала головой.

— Это неправильно. Это чужая песня.

— Она уже не чужая, — сказал я. — Она поёт тебя вот уже пять месяцев. Дай ей то, что она просит. Не её слова. Твои.

Она встала и вышла во двор.

Я не пошёл следом. Пусть побудет одна.

Третий день.

Ночью ребёнок кричал дважды. Ингрид не вставала. Рядом с колыбелью сидел Хальвар и держал сына за руку. Мальчик затихал, потом снова начинал. Ближе к утру стало тихо.

Я вышел на скалу перед рассветом. Море было серое, спокойное. Из темноты проступал силуэт маяка, и свет в нём ещё горел, но уже устало, перед тем как погаснуть. Небо на востоке светлело медленно, и вода под скалой отражала его так, словно свет шёл из-под воды, а не с неба. Я стоял долго. Утро здесь никуда не спешило, и я ему тоже не мешал.

Пока я стоял, я думал о том, что делать дальше. Я не знал, как звучит последний куплет. Не знал, какие слова нужны. Я знал только, что их не должно быть — ни тех, что написал бы я, ни тех, что подошли бы любому ребёнку. Песня должна была кончиться так, как кончаются вещи, которые действительно кончаются: не закруглением, а выдохом.

Меня окликнули сзади. Ингрид стояла на пороге с шалью на плечах, бледная, с тем же отчаянным упрямством в лице, какое бывает у людей, которые всю ночь не спали и всё-таки что-то решили.

— Идите сюда, — сказала она. — Я придумала.

Мы вернулись в дом. Хальвар уже сидел у колыбели, мрачный, с красными глазами. Ингрид взяла сына на руки. Мальчик не спал. Он смотрел на неё — тем особым взглядом, каким смотрят младенцы: внимательно, не мигая, будто они понимают больше, чем могут сказать.

Ингрид запела.

Она пела ту самую длинную песню, что пела ей бабушка, и голос её сначала дрожал, потом стал ровнее. Хальвар сидел, сцепив руки. Я стоял у стены и смотрел.

Песня дошла до того места, где обрывалась всегда. Ингрид не остановилась. Она медленно, подбирая каждое слово, словно пробуя его на вкус, провела мелодию дальше. Слова не были красивыми. Они не были даже складными — от них так и веяло домашним, неотёсанным, живым. Она пела о том, что было в этой песне, может быть, только для неё: о руках, которые гладят по голове, о том, что ночь кончается и наступает утро, о том, что кто-то всегда рядом, даже когда песня молчит. Она пела своим голосом — не тем, которым поют для ребёнка, а тем, которым говорят с собой наедине, честно и тихо.

На последней строке голос у неё сорвался. Она допела — почти про себя, на выдохе — и замолчала.

В доме стало тихо.

Не так, как бывало раньше, когда тишина после песни была страшной и ждущей. А просто тихо — как затихает вода после того, как в неё перестали бросать камни. Мальчик смотрел на мать. Потом моргнул, повернул голову и — я видел это, я стоял близко — заснул.

Ингрид не двинулась. Она держала сына и смотрела куда-то мимо меня, туда, где в углу комнаты стояла темнота.

— Она ушла, — прошептала она. — Я чувствую. Пела — и будто отпустила.

Я посмотрел на Хальвара. Он сидел, сцепив руки, и я видел, как нить между ним и колыбелью — та, что звенела от бессилия, — сначала натянулась до предела, а потом обмякла, как обмякает верёвка, которую отпустили с одного конца. Не оборвалась. Просто перестала держать.

Он поднял голову и посмотрел на жену. И она — впервые за те два дня, что я их видел, — посмотрела на него не с упрёком, а просто посмотрела.

— Ты не спал? — спросила она.

— Нет, — сказал он.

Он соврал. Я знал, что он не спал эти две ночи, потому что сидел рядом с колыбелью, — и я знал, что она видит, что он врёт, и знает, зачем он врёт, и это было ровно то, что им было нужно: маленькая ложь, которую двое носят вместе. Я много раз видел, как расходятся люди, у которых на двоих не осталось ни одной такой лжи.

Я подошёл и посмотрел.

Серая нить, тянувшаяся от маяка к колыбели, была натянута и дрожала. Я смотрел на неё и думал: ещё немного, ещё чуть-чуть — и она лопнет. Потом я заметил другое: от груди мальчика шла ещё одна нить. Тонкая, светлая. Она тянулась к матери.

Раньше её не было видно — а может быть, была, но так слабо, что я не различил. Мать и сын. Собственная нить, а не заимствованная.

Я подождал, пока Ингрид уложит сына, и мы вышли на воздух.

— Я не знаю, правильно ли я придумала, — сказала она.

— Ты держала его на руках и пела то, что помнишь сама, — ответил я. — Не я придумал.

Ты.

— Я плохо спела.

— Ты спела до конца.

Она долго молчала, глядя на море.

— Я думала, что если спою последний куплет, то я предам бабушку. Что я придумаю за неё.

— А ты не за неё придумала.

Она посмотрела на меня.

— А за кого?

— За себя, — сказал я. — Тебе было двенадцать, и ты осталась с песней без конца. Ты её допела.

Она отвернулась к морю.

Я ушёл на следующий день. Ингрид проводила меня до тропы. Ребёнок спал у неё на руках, и она несла его легко, как несли, наверное, и её мать, и бабушка.

— Вы вернётесь? — спросила она.

— Если позовёте.

— Я не знаю, как звать.

— Тогда просто ждите, — сказал я. — Я хожу там, где ждут.

Она засмеялась — впервые, и не над моими словами, а просто потому, что можно было. И я пошёл вниз, к дороге, огибающей бухту.

Через полчаса я остановился и оглянулся.

Дом под маяком был далеко. Я смотрел долго, но свет в окне горел ровно, как горел, наверное, у людей, которые впервые за много ночей просто спят. И над крышей дома я не увидел никаких нитей. Ни серых, ни светлых. Только дым из трубы — тонкая серая линия, поднимавшаяся в утреннее небо и тающая в нём.

Я отвернулся и пошёл дальше.

Вечером на привале я открыл тетрадь и записал одну строку. Я не пишу много, когда дело было только о тишине. Я написал: «Маяк. Колыбельная без последнего куплета. Допели». И, подумав, приписал второе: «Я слышу тишину иначе. Она не пустая. В ней всегда что-то есть — просто не всякому видно».

Потом я закрыл тетрадь и, прежде чем уснуть, долго смотрел на дорогу, уходящую к востоку. Она была пуста.

Зато утром я увидел на ней след. Слабый, серебристый, уже почти стёртый. Кто-то шёл здесь до меня. И шёл в ту же сторону.

Я пошёл быстрее.

Дом с двумя дверями

Дорога на восток была пуста. Не просто тихо — а так, будто кто-то держал дыхание.

Я заметил это в первый же час: птицы замолкали, стоило мне поравняться с деревом, на котором они сидели. Ветер стихал. Я оборачивался — и видел только пустую ленту дороги и ковыль, похожий на волосы, причёсанные невидимой рукой.

В полдень я сел у сухого русла, съел хлеб и вяленую рыбу и позволил себе полчаса полежать, глядя в белёсое небо. Такие паузы я делаю нарочно. Тело, идущее слишком долго без отдыха, начинает видеть то, чего нет. А разум, слишком долго занятый чужой болью, теряет способность отличить настоящее видение от усталости.

Я ел медленно, потому что жевать было больно: на втором зубе справа скололась эмаль, и крошка хлеба попадала в трещину. Языком я обходил это место уже неделю. В мешке лежала иголка, которой я не умел пользоваться, и я думал о том, что человек, у которого нет дома, не может пойти к лекарю просто так: лекарь спросит, где живешь, и что скажешь — «нигде»?

Ноги у меня были в порядке — ноги у меня всегда были в порядке, они ко мне привыкли. А вот спина не привыкла никогда. К третьему часу перехода начинало тянуть под лопаткой, и тогда я перекладывал мешок на другое плечо, и это помогало ровно на час. Я знал все свои сроки: сколько до первого пота, сколько до первой усталости, сколько до того часа, когда начинаешь разговаривать сам с собой. Это была не слабость. Это была карта, только не на бумаге, а на мне, и я по ней ориентировался лучше, чем по купленной за две медяшки.

К вечеру я вышел к деревне.

Она называлась Перекрёсток — двенадцать домов на пересечении двух трактов. Место было неудобное: дома стояли не лицом к дороге, как принято, а вразброс, некоторые — вовсе глухой стеной к путнику, как отворачиваются. Окна были закрыты ставнями, хотя солнце ещё не село. Ни дыма, ни собачьего лая, ни детских голосов.

На перевёрнутой лодке у околицы сидел старик и курил трубку. Я поздоровался и спросил про ночлег.

Он вынул трубку изо рта, и я увидел, что пальцы у него дрожат — не по-старчески, а от напряжения, которое не проходит даже в покое.

— Ночевать-то можно, — сказал он. — Только спать ты вряд ли будешь. Здесь теперь никто не спит.

Я опустил мешок и сел рядом. Когда человек говорит такие слова, лучше слушать сидя.

— Я разговариваю с людьми о том, что им мешает жить, — сказал я. — Иногда помогает.

Он посмотрел на меня долго, пристально: взвешивал на невидимых весах. Потом кивнул.

— Тогда тебе к Хенрику. Третий дом от колодца. Только сейчас не ходи. Сейчас время.

— Время для чего?

Он посмотрел на закат и не ответил сразу.

— Скоро услышишь.

Настаивать было не на чем. Мы сидели молча, и я начал замечать то, чего не увидел сначала: за ставнями угадывалось движение — осторожное, крадущееся. Доносился шёпот, слишком тихий, чтобы разобрать слова, но слишком отчётливый, чтобы принять его за ветер. В щелях мерцал свет — не ровный, как от лампы, а дрожащий, свечной. И весь этот свет, я заметил, горел у входных дверей. Будто люди сидели на пороге и ждали.

А потом я услышал.

Скрип. Тихий, но в мёртвой тишине он прозвучал как удар колокола. Скрип дверных петель — не один, а несколько, почти одновременно, по разным концам улицы. Сначала в доме напротив, потом левее, потом где-то за спиной. Ритм был странный: не хаотичный, а подчинённый одной команде. Невидимый дирижёр взмахнул палочкой, и все двери разом отозвались.

Я обернулся. Ближайшая дверь была приоткрыта ровно на ладонь. В щели стояла темнота — густая, как дёготь. Но там, внутри, кто-то был. Я не видел. Я знал — чувствовал затылком, кожей.

Старик не шелохнулся. Он сидел, опустив голову, и трубка его погасла. Губы шевелились беззвучно.

— Что происходит?

— Она возвращается, — ответил он, не поднимая глаз. — Каждую ночь. В одно и то же время. Ровно в сумерках. Открывает двери и стоит на пороге. Никогда не входит. Но и не уходит. Просто стоит и смотрит. В каждую дверь сразу. А к утру исчезает. До следующей ночи.

Я посмотрел вдоль улицы. У каждого дома, сколько хватало глаз, дверь была приоткрыта.

— Кто — она?

— Анна. Жена Хенрика. Умерла пять лет назад. Перед смертью сказала ему: «Я вернусь». И теперь возвращается. Каждую ночь.

— Вы сказали — в каждую дверь сразу. Как?

— Не знаю. — Старик покачал головой. — Но Хенрик открывает свою первым. А за ним — все. Даже те, кто запирается на засов. Даже те, кто подпирает стулом. Она всё равно открывает. Без звука. Раз — и распахнута.

Я пошёл по улице. Шаги звучали слишком громко. Мимо домов, мимо приоткрытых дверей, в которых что-то колыхалось. Не фигура — тень фигуры, очерченная слишком чётко, чтобы быть случайностью, и слишком зыбкая, чтобы быть человеком. Я шёл ровно, не ускоряя шага. Давно усвоенное правило: страх, которому позволишь торопить ноги, быстро начинает торопить и мысли. А мысли, поспешные и рваные, — плохой инструмент для встречи с невидимым.

У третьего дома от колодца дверь была открыта настежь. И на пороге стоял человек.

Он был высок и худ, седые волосы падали на плечи. На нём был старый шерстяной халат поверх ночной рубашки, и он стоял босиком на холодных досках. Он смотрел в темноту за порогом — туда, где, казалось, ничего не было.

Но я видел. Видел, как в пустоте перед ним сгущается серебристая дымка, как она принимает очертания, которых не может быть, — женский силуэт с протянутой рукой.

Он повернул голову и посмотрел на меня. Глаза его были ясными, без признака безумия, но в них стояла такая безысходная тоска, что я на мгновение забыл о всех своих правилах.

— Мне сказали, что придёт человек, который разговаривает с людьми, — произнёс он. — Соседи говорили. Я не верил. А теперь вижу. Я уже боялся, что не дождусь.

Я шагнул за ним. Порог встретил меня холодом — не сквозняком, а глубоким, медленным холодом, который поднимался от пола и оседал на коже. В доме было темно; только лунный свет сочился сквозь щели ставен, разрезая воздух на узкие полосы. Хенрик не зажигал огня. Он шёл впереди, и шаги его звучали глухо, точно он ступал по земле, а не по доскам. Пахло старым воском, пылью и чем-то морским — не солью, а сыростью, какая бывает в трюме.

Коридор оказался длиннее, чем следовало из размеров дома. Я заметил это не сразу — только когда оглянулся на входную дверь и увидел, что она отстоит дальше, чем была секунду назад. Пол под ногами чуть пружинил, как палуба, хотя дом стоял на твёрдой земле.

Я сделал шаг — и дверь впереди стала ближе, хотя я не приближался. Или коридор стал короче. Я не мог понять, и от этой неопределённости волосы на руках встали дыбом. Где-то позади тикали часы, но их ритм сбился: теперь они отсчитывали не секунды, а что-то другое. Может быть, удары сердца. Может быть, шаги человека, который умер и всё ещё ходит по комнатам.

Коридор закончился гостиной. Обычная комната: стол, стулья с высокими спинками, буфет с потускневшей посудой, камин, в котором давно не разводили огня. Но посередине, прямо на дощатом полу, стояла дверь.

Она была деревянной, с простой железной ручкой — такие ставят в старых домах между комнатами. Но что-то в ней было от корабля. Не форма — сама древесина, разошедшаяся и серая, точно её долго били волны. И запах моря здесь был гуще, чем в остальном доме.

Дверь никуда не вела. Она стояла вертикально, без коробки и петель, вмонтированная в пол так, словно строитель рассудил, что здесь должен быть проём. Но проёма не было. Только полотно, окружённое пустым пространством.

Хенрик опустился перед ней на колени, как перед алтарём.

— Это она, — сказал он, не оборачиваясь. — Вторая дверь.

Я остался у входа и оглядел комнату: буфет, покрытый тонким слоем пыли, стулья, отодвинутые много лет назад и с тех пор не тронутые, засохшую ветку в вазе на подоконнике, давно потерявшую и цвет, и запах. Всё здесь замерло в тот день, когда хозяйка в последний раз вышла из этой комнаты. И эта неподвижность вещей говорила о горе Хенрика громче любых слов.

Я подошёл ближе. Дверь была заперта. Из замочной скважины тянуло холодом — и этот холод был мне знаком. Холод невидимого, которое ждёт, когда его впустят. Я посмотрел, не напрягаясь, просто посмотрел — и увидел, как вокруг двери пульсирует серебристое свечение, похожее на лунную дорожку на воде. От двери во все стороны тянулись нити: сотни тонких нитей, уходивших сквозь стены наружу, к другим домам, к другим дверям.

— Расскажите, — попросил я.

Он долго молчал, глядя на замочную скважину. Потом заговорил — медленно, с паузами: каждое слово требовало усилия.

— Анна была моей женой двадцать три года. Мы прожили здесь всю жизнь. Этот дом ещё мой дед строил. Я здесь родился, здесь думал умереть. А вышло — что я один остался.

Детей у них не было. Не случилось. И они заменили друг другу весь мир. Она знала все травы, все приметы, все песни, какие пели в этих краях. Он чинил лодки, ходил в море, возвращался. Жили ровно, как часы, которые теперь тикали в коридоре.

— Пять лет назад она заболела. Сначала просто слабость, думал — устала. А потом пошло внутрь, как ржавчина. Лекари руками разводили. Я возил её в город, но и там сказали: не поможем. Она таяла на глазах. Последние месяцы уже не вставала. Лежала наверху и смотрела в окно, на море. Я сидел рядом, держал за руку. Иногда она просила открыть окно — хотела слышать волны. Иногда закрыть — говорила, волны слишком громко зовут.

Он замолчал.

— В последний вечер она попросила подойти ближе. Я наклонился, и она прошептала мне на ухо: «Я вернусь. Не запирай дверь». Я подумал — бредит. А она улыбнулась и говорит: «Нет, серьёзно. Ты же знаешь, я всегда выполняю обещания». Это были её последние слова.

Он провёл ладонью по дереву двери — нежно, как гладят лицо спящего.

— Сначала ничего не было. Я похоронил её, справил поминки, пытался жить. А через год, ровно в день её смерти, проснулся ночью от скрипа. Кто-то открыл входную дверь. Я спустился — на пороге никого. Закрыл, лёг. На следующую ночь — снова. Через неделю я перестал закрывать совсем. Думал, ветер. Но сквозняка не было. Дверь открывалась сама, а в проёме стояла темнота. Но не пустая. В ней кто-то был. Я не видел. Знал.

Он повернулся ко мне. Глаза были сухими, но в них стояла такая боль, что я отвёл взгляд.

— Я позвал плотника. Попросил сделать вторую дверь — вот эту. Мне казалось, если я построю дверь специально для неё, она перестанет приходить в основную. Но стало хуже. — Он замолчал. Потом сказал вдруг, и голос сорвался: — Я хотел, чтобы она пришла. И боялся, что останется навсегда. Понимаете? Не знаю, чего больше — жду её или хочу, чтобы всё кончилось. От этого и построил дверь. Чтобы был выбор. А вышло только хуже.

— И теперь она приходит не только к вам.

— Ко всей деревне. Все двенадцать домов. Каждую ночь. Соседи боятся, но терпят. Меня жалеют. А я жду.

— Чего?

Он долго молчал. Потом выдохнул:

— Не знаю. Может, того, что она войдёт. А может — что уйдёт. Навсегда. — Он сглотнул. — Я устал ждать. Но и отпустить не могу. Иногда мне кажется, если я открою эту дверь и шагну туда — снова её увижу. Но я боюсь. Боюсь, что там ничего нет. Или наоборот — что там что-то есть, и я не смогу вернуться.

Я смотрел на дверь. Серебристое свечение вокруг неё дрогнуло. Я не был уверен, что это Анна. Может быть, это была его тоска, обретшая форму, — тоска, которая не может отпустить. А может быть, и вправду она: обещание, повисшее в воздухе. То и другое переплелось так тесно, что различить было нельзя. Из замочной скважины тянуло — как тянет из открытого рта. Я отступил. Мне не нужно было объяснять себе, что это. Достаточно было видеть: дверь ждала слова, а не действия. Обещание, запёртое в дереве, слушало.

— То, что вы видите, — сказал я тихо, — это не Анна. Это её обещание. Оно осталось здесь, потому что не было исполнено. Она сказала «вернись». Но не сказала «прощай».

Хенрик смотрел на меня, и я видел, как в его глазах медленно проступает понимание — не радостное, но какое-то облегчающее, будто кто-то наконец произнёс вслух то, что он и сам знал, но не умел сформулировать.

— Что мне делать? — спросил он.

Я достал из мешка полынь, лаванду и мел и разложил на полу между нами. Хенрик смотрел на них так, будто это были не вещи, а приговор.

— Я могу сделать так, что соседи перестанут слышать скрип, — сказал я. — Могу очертить границу, и она не будет открывать чужие двери. Но совсем она не уйдёт, пока вы сами не отпустите. Для этого нужно, чтобы вы сказали то, что не успели сказать тогда. Или написали. Здесь, на двери.

Он долго молчал. Потом поднял на меня глаза, и я впервые увидел в них не тоску, а решимость, похожую на страх.

— Если я это сделаю, её больше не будет?

— Не знаю. Но она перестанет быть привязанной к дому. И к вам.

— Я не могу решить это сейчас, — сказал я. — Для полного завершения нужны две вещи, которых у меня с собой нет: тисовая древесина и вода из обратного источника. Без них я не могу отпустить обещание окончательно. Могу только удержать его на месте, чтобы оно не тревожило соседей.

— Но вы вернётесь? — спросил он с надеждой, которую не пытался спрятать.

— Вернусь. Я записываю все свои дела. — Я показал ему тетрадь. — Это дело не закрыто. Но пока я сделаю так, что дверь будет открываться только здесь и только для вас. Соседи перестанут слышать скрип. А вы сможете с ней разговаривать — если захотите.

Я зажёл полынь и обвёл дымом дверной проём — медленно, по часовой стрелке. Запахло горечью и летней степью. Потом взял масло лаванды и смазал замочную скважину, каплю за каплей, пока замок не перестал издавать тот тихий, почти неслышный скрежет, который всё это время стоял в комнате, как комариный писк. Масло впиталось в сухое дерево, и на миг мне показалось, что дверь вздохнула, как старая лодка, которую наконец вытащили на берег.

Хенрик стоял рядом, сжимая мел, который я ему протянул.

— Что мне написать?

— То, что вы хотели бы сказать ей, если бы она была здесь.

Он долго смотрел на дверь. Потом прижал ладонь к дереву — за опорой — и начал писать. Рука дрожала, но буквы выходили чёткие. Он выводил их медленно, с нажимом, всей своей жизнью.

Иголки невидимых нитей, тянувшихся от двери к соседским домам, одна за другой начали гаснуть. Я видел, как они отступают, сворачиваются, возвращаются к двери, как щупальца улитки, которую осторожно тронули. Через несколько минут в комнате осталась одна нить — тонкая, серебристая, протянутая от замочной скважины к груди Хенрика. Она не была тёмной или пугающей. Она была похожа на шнурок, которым привязывают к руке письмо, чтобы не забыть отправить.

Я смотрел на эту нить, и где-то внутри шевельнулась моя собственная тень. Она молчала. Но я почувствовал: она тоже знает, что такое привязывать к себе того, кого уже нет. Я отвёл взгляд.

— Сегодня ночью соседи будут спать спокойно, — сказал я, убирая мел и полынь. — Дверь откроется только здесь. И только если вы сами её откроете.

— А если я не захочу? — спросил он шёпотом.

— Тогда она подождёт. Она терпеливая. Как море.

Я поднялся. Хенрик остался сидеть, прислонившись спиной к двери, которую сам построил для своей мёртвой жены. Лицо его было спокойным — впервые за весь вечер.

— Когда вы вернётесь?

— Не знаю. Может, через месяц. Может, через год. Но я записал вас в тетрадь. Я не забываю.

Он кивнул и закрыл глаза. Я вышел, осторожно притворив за собой входную дверь.

Улица была тиха. В окнах больше не дрожал свечной свет — люди спали, впервые за долгие месяцы не слыша скрипа петель в сумерках. Я прошёл мимо дома напротив, мимо перевернутой лодки, на которой уже не сидел старик с трубкой, и вышел на дорогу.

У развилки, где тропа выходила на большак, стоял покосившийся столб с выцветшей табличкой. Рядом росла старая лиственница, тёмная, в два обхвата, и её корни, как узловатые пальцы, уходили в землю.

Я остановился у дерева, положил на ствол ладонь и постоял, просто дыша, давая себе успокоиться. Место было подходящее: перекрёсток, старое дерево. Такие точки хорошо держат след.

Потом я закрыл глаза и сосредоточился. Не на словах, не на образах — на самом простом: на намерении оставить знак. Я представил, как от ладони в кору уходит лёгкое серебристое тепло — не жгучее, а мягкое, похожее на след дыхания на стекле. В нём было немного: «Здесь был один из нас». И ещё, едва уловимое, для тех, кто умеет читать: «Нужна тисовая древесина и вода из обратного источника. Дело не закрыто».

Я не знал, придёт ли сюда кто-то из наших. Но если придёт — поймёт. Не буквы, не символы, а то, что я оставил в воздухе и в дереве: тихую подпись, которую не увидят глазами, но можно почувствовать, если смотреть правильно.

Отняв ладонь, я оглядел развилку, убедился, что след не тянет за собой ничего чужого, и зашагал по большаку.

Отойдя на порядочное расстояние, я свернул к рощице и устроился на ночлег между двух лип. Костёр разводить не стал — ночь была тёплой, а мне хотелось не света, а темноты, в которой глаза отдыхают от постоянного распознавания невидимого. Я лежал на спине и смотрел, как звёзды ползут между листвой.

Я знал, что вернусь. Невидимое — это всегда незавершённый разговор. А разговор нельзя обрывать на полуслове. Но иногда, чтобы завершить его правильно, надо сначала найти правильные слова. Или правильное дерево. Или источник, который течёт против времени.

В тетради я дописал под заголовком «Дом с двумя дверями»: «Временное решение: периметр очерчен, соседи спят. Для полного освобождения нужны тис и вода из обратного источника. Вернуться, когда будут найдены». Ниже приписал адрес деревни и имя Хенрика.

Потом я лежал и слушал, как в темноте кто-то — то ли птица, то ли ветер — трижды повторил одну и ту же короткую ноту. И я подумал: если я когда-нибудь не вернусь, эта дверь останется ждать меня. Мысль была неприятной. Я закрыл глаза и заставил себя уснуть.

Утром я обнаружил, что на моей собственной ладони, в самом её центре, остался след от коры лиственницы — слабый, серебристый, размером с монету. Я потёр его пальцем. Он не сходил.

Я решил, что это от смолы. И пошёл дальше.

Второе

Я видел во сне, что стою у колодца, и во сне мне было семь лет.

Это был неправильный сон. Мне не снилось детство — мне снился я, сегодняшний, в теле мальчика, который держит нож и сосновую палочку. Я вырезал на палочке буквы и не успевал дописать: кто-то звал меня от дома, и я бежал, и палочка падала в траву.

Во сне я знал, какое слово я писал. Проснувшись, я его не помнил.

Я лежал и слушал, как за стеной женщина поёт над ребёнком, обрывая песню на середине. Деревня не хотела, чтобы я спал. Или я не хотел.

Утром я достал тетрадь и посмотрел на записи. Восемнадцать дел. Ни одного своего.

Первые дни я не замечал ничего. Я шёл, работал, записывал, спал. Я был хорош в своём деле — это я понял быстро, — и дело меня несло. Так несёт река: не спрашиваешь, куда, потому что вода сама знает.

Заметил я на седьмой день.

Я сидел в чужом доме, разговаривал с человеком о его мёртвой жене, и в какой-то миг он сказал мне: «Вы говорите так, будто сами теряли». Я ответил, что не помню. Он посмотрел на меня долго и сказал: «Значит, теряли».

Я вышел от него и сел на крыльце.

Что это было? Я не помнил ни одной своей потери. Ни одного человека, ни одного дома, ни одной вещи. В тетради было восемнадцать чужих жизней, переписанных моей рукой, и ни одной своей — ни строки, ни имени, ни места. Я листал её вечером и нашёл между записями пустую страницу, на которой было написано только одно слово, и слово было не моё: «Дальше сам».

А потом я заметил второе. Тётка, которая поставила передо мной крынку молока, налила его в кружку с отбитой ручкой. Кружка была старая, глиняная, с процарапанным по краю узором — точками и косыми чёрточками. Я взял её в руки и почувствовал, что знаю этот узор. Не помнил, а знал. Откуда?

Я спросил у тётки, откуда кружка.

— Из дома. Всегда была.

Я не стал спрашивать больше. Я выпил молоко и поставил кружку на место, и до конца дня не мог отделаться от чувства, что меня в этом доме уже принимали — давно, в другой жизни, о которой я ничего не знаю.

На ночлеге я сел и стал считать.

Восемнадцать дел. Я прошёл пять. И в каждом из пяти было что-то, чего не должно было быть: узор, который я знаю; песня, которую я допел; женщина, которая со мной не поздоровалась, потому что знает меня слишком давно; мальчик, у которого были красные руки, точь-в-точь как у меня зимой, когда я ещё мог их отморозить.

Совпадений было слишком много для совпадений.

Я записал в тетради, на свободной странице: «Смотреть внимательно. Возможно, я не первый раз иду этой дорогой». И подумал: а если не первый — как понять, где я был? Никак. Не по чему.

Я тогда ещё верил, что не по чему. Уже тогда надо было понять, что я ошибаюсь.

Утром я пошёл дальше.

Деревня забытых имён

Я перестал слышать птиц на третий день к вечеру, и тогда увидел деревню.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.